

Поэтические страницы



На стыке двух жизней

Поэзия Натальи Ванханен

Всякий скажет: двойная жизнь – это плохо. Потому что обман и неискренность. Однако бывает и по-другому.

У Натальи Ванханен, например, две жизни – жизнь вдумчивого русского поэта и жизнь переводчика поэзии.

К переводам она относится так же серьезно, как к собственным стихам, работает над ними с полной отдачей. Ее стараниями прекрасным русским языком заговорили и прославленные испанцы золотого века – Кальдерон, Лопе де Вега, и классики века двадцатого – Антонио Мачадо, Гарсиа Лорка, Луис Сернуда, и наши современники – чилийка Габриэла Мистраль, аргентинец Хуан Хельман, испанец Анхель Гонсалес и многие, многие другие, дотоле неизвестные нам поэты. Она глубоко убеждена, что именно понимание, разгадывание смыслов оригинала, существующих в контексте иной культуры, и передача этих смыслов на другом языке при обязательном сохранении главного – самой поэзии – и есть задача настоящего переводчика.



Две жизни Ванханен идут параллельно, практически не пересекаясь. Случается, одни знают ее только как поэта, другие – только как переводчика, а некоторые даже полагают, что это два разных человека.

Но однажды две параллельные линии пересеклись – там, у черты горизонта, а вернее, на краю света – в испанских стихах Натальи Ванханен. Испанские же они потому, что об Испании. В Испании и написаны.

Филолог-испанист по образованию, многолетний «понимальщик и расшифровщик» испаноязычной поэзии, Ванханен оказалась в Испании далеко не сразу, а оказавшись, долго вникала, силясь уловить самую суть звуков, запахов, переходов тени и света нового для нее мира. Ее стихи не умозрительны, свободны от романтических штампов и показных красот. В них легко дышится. Это живое пешее путешествие по испанской глубинке с пологими средиземноморскими холмами, тишиной монастырей, сухим воздухом, пропитанным смолистым духом пиний, с горячим камнем, с подвижной, то и дело меняющей очертания ячеистой сетью ласточек над рыночной площадью. Часы *аюнтамьенто* (местное название ратуши) показывают то же время, что в эпоху Сервантеса и Кеведо, а на

соборную колокольню неаккуратно нахлобучено гнездо аистов, живущих здесь не одну сотню лет. Словом, как писал молодой Набоков о Провансе:

*При Цезаре цикады те же пели,
И то же солнце кралось по холмам.*

Вдобавок в Испании ей непреодолимо хотелось рисовать, вот и ходила с блокнотиком и карандашом, а иногда и с акварельными красками по старинному арагонскому городу Тарасона и окрестным полям, где пыльные овцы похожи на валуны, а вода, как воплощение самой жизни, бежит по каменным арыкам (по-испански *асекьяс*), проложенным в незапамятные времена еще арабами. К июлю трава здесь выгорает до желтизны, а в мае ярко-зелена и забрызгана мелкими красными маками – глаз не отвести.

Так что стихи получились с иллюстрациями.

Поэт, переводчик, философ и романист Владимир Микушевич уверяет, что русские – просто северный народ Средиземноморья. Когда читаешь стихи и смотришь рисунки Натальи Ванханен, в это легко верится.

Н.Р. Малиновская



Только столб не цветет. 1993

Тарасона. Вечер. 1993 ▶



Наталья Ванханен

Арагонские ласточки

*Посвящается Мерседес Палау, Марине
Торрес и Франсиско Урису – директору
«Дома переводчика» в Тарасоне*

Тарасона

Тугие антенны на крыше,
и плющ у садовых ворот.
В каштанах летучие мыши
замедлили рваный полет.

Сто ласточек выело стены,
а будто совсем ни при чем,
и башня Святой Магдалены
подсвечена снизу лучом.

Живут здесь богатые люди,
и бедные тоже живут,
и тоже мечтают о чуде,
и вниз по теченью плывут.

Здесь тоже гадают и просят,
и, в колокол медный звоня,
Святую блудницу проносят
по случаю светлого дня.

Здесь стороны той же медали,
что вешают всюду на грудь,
и в бывшем еврейском квартале
всего каменистее путь.

И плещет вода в отдаленье:
в фонтане из каменных блюд
щербатую чашу терпенья
потертые ослики пьют.

И думает путник захожий:
– Взгляну и пройду стороной,
а если я странник, то все же
не больше, чем всякий иной.



Арагон

I

Хорошо здесь, ветра много,
веют важные сады.
Много ласточек у Бога.
много света и воды.
А сойдешь с дороги шумной –
муравьиный кончен труд.
Только красный кратер лунный:
край, где люди не живут.
Только птица остро реет
и, пока не упадет,
завершает, как умеет,
мертвый, каменный полет.
Да над засухой всегдашней
солнце, вставшее в зенит,
в грозный, огненный и страшный,
в пыльный колокол звонит.

II

Этот край изработан и высох,
подожжен от макушки до пят.
В изумрудном огне – в кипарисах –
стонут горлицы, точно горят.
Весь слепыми руками обшарен,
не откликнется, сколько ни кличь,
оглушен, пропечен и прожарен,
истонченный веками кирпич.
И в горячем сверкании ада,
на белой стене, у ворот,
лишь венозную кровь винограда
красноклювая ласточка пьет.

Бестиарий, или испанское барокко

Из колодца матери-отца,
из индиго, охры и свинца,
из когтей, конечностей и рыл,
из багрянца, глянца и белил,
из морской тяжелой синевы,
из лазурной ангельской листвы,
из закатных бронзовых небес,
из парчовых складок и завес,
ни бродящий с музыкой сурок,
ни шелковый зверь единорог,
ни сухой масляноглазый лис
не скользнули к нам из-за кулис,
не спустились, прямо ли, внаклон,

с виноградных кольчатых колонн,
где теснится, временем храним,
агнец к волку с бляньем немым,
где на ляжки грешных поросят
похотливо ангелы косят
да играет черт перед постом
между ног пропущенным хвостом.
Из струи столетнего вина
уцелела только ты одна.
Вырвалась – держи его, ищи! –
как свистящий камень из пращи,
самородок, легкий и высок,
в незащитный целящий висок,
в жилку под коленом у коня, –
ты сама – и камень, и броня,
ты сама – высокой вены дрожь,
ты одна живую брешь пробьешь!
Брошена, блаженна, хороша,
ласточка, касаточка, душа,
в древнем мире вечный новичок,
закорючка, буковка, значок,
галочка на поле мертвых лет –
золотой звенящий дубльвет.

Ласточка

Свет разреженный сквозит
осязаемым озоном.
Ромбик ласточки скользит
над постриженным газоном.
Сколько риска в голове,
сколько писка в грудке тесной –
низко-низко, по траве
сизой змейкою небесной!
Жаркой стопкой-посошком
перед тем, как сгнуть в безднах,
черным шелковым стежком
полотна дорог железных.
Воздух взрезанный визжит,
свищут крылья на отвесе,
на одном – гора дрожит
в голубой своей завесе,
на другом – лежит гора
долгой тенью на полмира
с гулким эхом топора,
темной тяжестью инжира.
Горы – сколько их ни есть –
прошивать ей не наскучит.
Принесет любую весть,
только пусть ее поручат.
В синеву и в высоту –



не беда, что век не дожит!
Обессилет – на лету
треугольный парус сложит.
А не скажет: – Я стара,
извините, дорогая:
на крыле моем гора,
на другом крыле – другая.

* * *

Когда тепло нам камень отдает
среди теней, уже излишне длинных,
и на холме пологий переход
от света к тьме заметней, чем в долинах,

Когда лоснится смуглостью литой
щербатая скупая черепица
и в монастырской клетке золотой
на башне дремлет колокола птица,

Когда соринку неба проморгать
сто ласточек слетается на вызов
и мертвые, чтоб нас не испугать,
стоят над нами в виде кипарисов,

мы думаем, что будем долго жить
или умрем, но не об этом тужим,
а лишь о том, что надо отслужить
вот это все, но вряд ли мы отслужим.

Монастырь Поблет

I

И без запаха зимние розы.
И без голоса звон с вышины.
И фонтан, утирающий слезы
не твердеющей, жидкой луны.
И упруго качанье зеленых,
так пришедшихся здесь ко двору
кипарисов предутренне-сонных –
вековечных свечей на ветру.

II

Как будто сбежавший из шахмат,
резною турою впотьмах
вдоль клумбы, где розы не пахнут,
идет черно-белый монах
и шепчет: «Покуда мы в сборе,
вину и достатку хвала!..
Ужо Средиземное море
все крошки сметет со стола!»

III

Пергамент восковой,
засаленный в углах.
Упрямой головой
склонившийся монах
отложит фолиант,
не дочитав кусок,
где ласточкина тень
прошла наискосок.

* * *

Горного кряжа отсеки –
кобальт, железо и медь –
можно запомнить навеки,
если подольше глядеть.

Бег стационарных табличек,
промельк забора рябой,
башенки красный кирпичик,
голубь и дым голубой.

Верьте в бессмертье, не верьте –
я не прошу ничего:
Боже, оставь мне по смерти
зренье – и только его!

Духу не надобно рая,
только бы вечно плыла
эта, от края до края,
тень от косога крыла,

только бы видел сквозь слезы,
глух, навсегда молчалив,
сладкое тело березы,
горькое тело олив!

Морской музей

Резные ростры с мордами зверей,
крутые бюсты, режущие бурю,
среди семи запоров и дверей –
семи морей, едва глаза прищурю.

Расправил крылья лебедь-великан.
Сирена плотно сдвинула колена.
С раздутыми ноздрями старикан,
кривя губу, отплеивает пену.

Какие фрукты-овощи с гряды!
С подветренной ни капли не подмокли.
О, эти щеки, груди и зады –
на зависть брюкве, посрамленье свекле!

Слегка поддать наглеющим валам –
без раздраженья, просто ради шутки –
и волны, изогнувшись пополам,
уже блюют, хватаясь за желудки.

Хлестнет наотмашь йодистый размах,
и хрустом соли – эй, куда поперли! –
вдруг богохульство скрипнет на зубах,
и слизь медузы комом станет в горле,

когда в отвальной этой кутерьме –
чего ярились и о чем кричали! –
в гареме – евнух, вертухай – в тюрьме,
бредет смотритель с тряпкой и ключами.

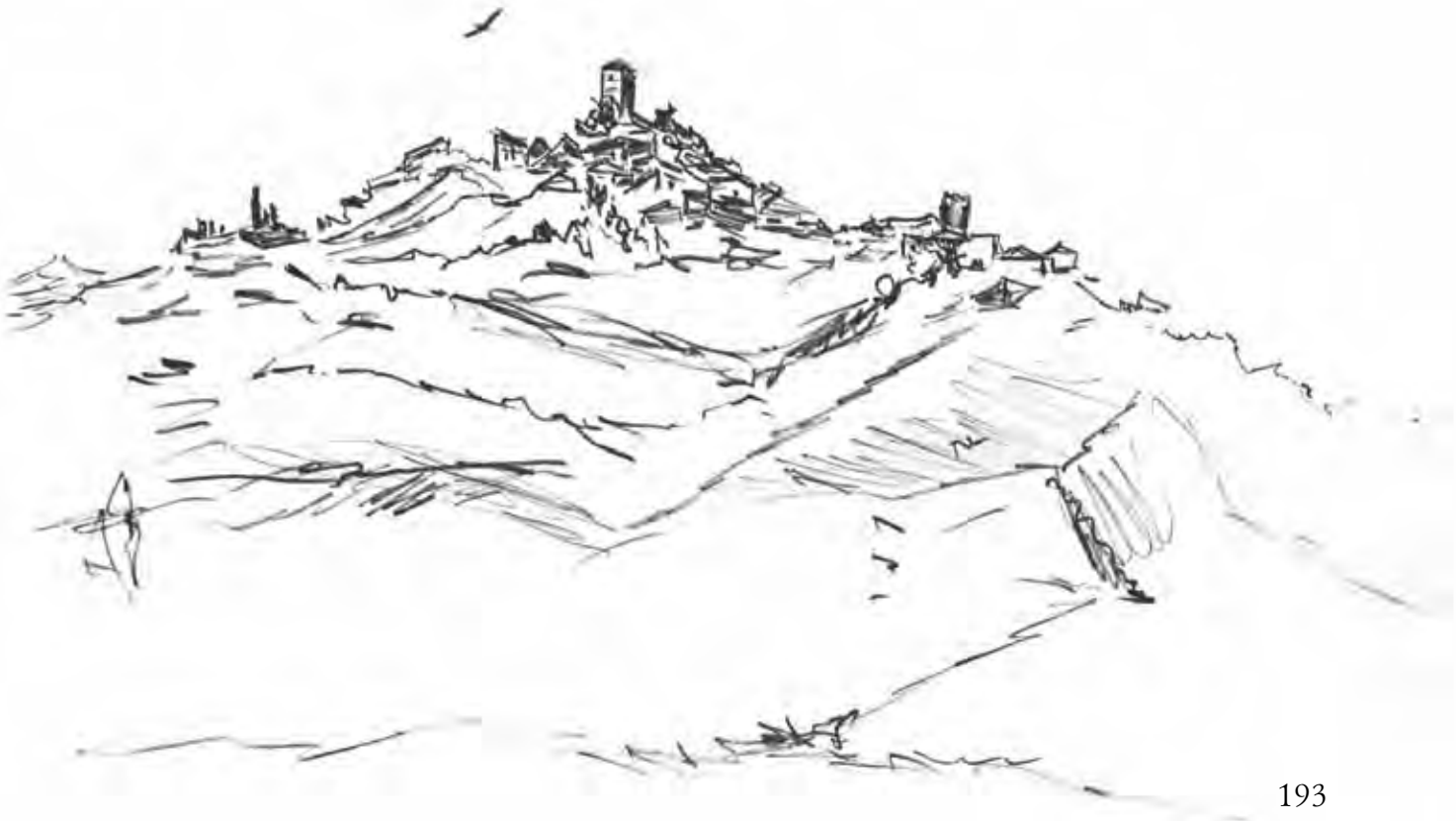
Он за порядком бдительно следит.
Вот градусник. Вот переходов схема.
На что ему изгибы Афродит,
Нептуна гнев и похоть Полифема?

Он с голой бабы смахивает грязь,
промежность трет ей, будто так и надо.
Но, фыркая, вздуваясь и плюясь,
уже плывет Великая Армада!

Уже ее остановить нельзя,
и злая баба виду налитого,
глаза скосив и титьками грозя,
его, как краба, раздавить готова.

Компот из клювов, крыл, хвостов и рук,
и зыбь волны на дюнах и в подкорке,
пока дельфины прыгают вокруг
и мальчиков сажают на закорки.

Прощай, смотритель! Бог тебя простит!
В рядне не тесно и на дне не больно!
А шелк шумит. А море шелестит.
А мир велик. А сердце своевольно.



и боталом болтал.
Моргал ресницей длинной,
мотал слюной витой
и был такой невинный,
что, кажется, святой.
А посреди вольера,
почуяв в нем изъян,
скакал мой кабальеро,
как стая обезьян.
Початой сигаретой



Испанские страсти

Скуластые цикады
размалывают грусть.
Ждала бы серенады,
да, верно, не дождусь.
А все же под навесом
порой средь бела дня
здесь кто-то с интересом
взирает на меня.
Дурацкая уловка.
Пушистая щека.
На днях дразнил он ловко
неловкого быка.
У ратуши с фронтоном
был высыпан песок,
и стал тупик загоном,
к бруску пригнав брусок.
А посреди загона,
как прежде, как всегда,
в фонтан плескала сонно
зеленая вода.
Она быка-двухлетку
звала на берега
и солнечную сетку
бросала на рога.
А что тут делать надо
бычок совсем не знал,
стоял, как в центре стада,

бычку под нос дымил
и розовой мулетой
отчаянно пылил.
И видя это дело –
а лучше б не видеть! –
я так бычка жалела,
что в сказке не сказать.
А все ж – кто сладит с нею,
с такой душой хромой! –
зачем-то я краснею,
когда идальго мой
нет-нет проходит близко
по нашей стороне
и крутит зубочистку,
и кланяется мне.

Шавромахия

Прихлебывать кофе с галетой,
пока на экране века
тореро колышет мулетой
и пыльного дразнит быка.
И падает клейкая пена
с горячей губы голубой,
и падает бык на колена

и тянется к смерти губой.
И вот, на коленях и в муках,
за вечную струнку задет,
как мальчик в вельветовых брюках,
ползет, протирая вельвет.
И черное зеркало взгляда
мутнеет в неравной борьбе
и будто бы шепчет: «Не надо,
убей, но оставь при себе!»
Влюбленности полная мера.
В кровавом зрачке налитом
уже стекленеет тореро,
как дама в шитье золотом.
Красивая. Сильная. Злая.
В грудь целит и очи слепит...
И меркнет экран, потухая,
и утренний кофе допит...
Что вами взаправду хранимо,
и путь ваш взаправду каков,
никчемные пасынки Рима,
приемные дети веков?
И пинии ваши столетни,
и девам Господь попустил
постукивать тувфелькой летней
о камень латинских могил.
И в сумраке желтого зноя,
в запекшемся всхрапе быка
все чудится время иное

и смертная чья-то тоска.
А все б вам чудить да чудачить,
а все бы вам дурня ломать,
чтоб Гамлета переколпачить
и Байрона перехромать.

Монастырь Санта Мария де ла Уэрта

Запах мирта в тени колоннады.
Ярко-розовый отсвет в углу.
Безголовые ласточки рады
отраженному камнем теплу.

От тепла ли, от света излишка,
повторяя свое: «Отогрей!»,
знай гремит их пустое сердчишко
звонкой галькой далеких морей.

Да трехслойного голоса розу
из нездешних доносят сторон
три монаха, упавшие с возу,
с пропыленного стога времен.



И в запеве глухом говорится:
– На земле, в окруженье планид,
только рыба пока, только птица,
а венец ей еще предстоит.

Флореста

Вне единства, времени и места
за окном, как будто не была,
промелькнет какая-то Флореста,
будто взмах далекого весла.

Плоскою ручонкой, словно дети,
флюгерки махнут на полотно:
кто я есть и есть ли я на свете,
ей, Флоресте этой, все равно!

Лишь лабазы, базы, сор и камень,
тот же вострый ножик на углу.
Скука мира плоскими щеками
приникает к пыльному стеклу.

Что тебе оседлость, что кочевье –
разница, глядишь, невелика.
Лишь плывут миндальные деревья,
как в нездешнем небе облака.

Зима под Мадридом

Сквозь туман золотого века
италийские сосны в ряд
ни единого человека
не лелеют и не таят.

Воздух матовый смутно мреет,
и на маковке у зимы
солнце зимнее сладко греет
неисхоженные холмы.

И плывет и будто двоится
долгий стон голубиных пар.
Смуглогубая черепица
выдыхает дрожащий пар.

И душе никуда не деться –
лишь вздохнуть и пропасть вовне...
Ты прости, но назавтра сердца
ни на что не осталось мне.



Кармен

Сон окраины невзрачной.
 Чахлой пальмы силуэт.
 В окнах фабрики табачной
 зазмеился лунный свет.
 Тронул выщербленный цоколь,
 весь – забвенью и покою,
 и неровность старых стекол
 сгладил желтою рукой.
 Цех закрыт. На всем усталость.
 Пыль не пахнет табаком.
 Как *она* вчера смеялась,
 опершись на балкон!
 Надувала щечки мило,
 не блистая красотой,
 и солдатика дразнила
 лаком тувельки литой!
 Изменились нынче вещи –
 те, что были испокон.
 Даже сон – пустой, не вещий,
 выходной, воскресный сон.
 Утром зябко, в стенах – глухо.
 Месяц спит на чердаке.
 С рынка тащится старуха
 в перекрученном чулке.
 Позаброшенная всеми,
 ничего не говоря,
 как безжалостное время
 вдоль стены монастыря.

На небе и на земле

Запоздалые птицы – домой
 заповедной орбитой земной,
 мимо свары детей и отцов
 и епископских вечных дворцов.
 Мимо скрипа и стука колес,
 где собор, как заречный откос –
 в желтых осыпях, съеден и нищ,
 весь в пробоинах птичьих жилищ,
 по-над градом, над городом, над
 виноградом, читай – вертоград,
 со звездой во лбу или без,
 под рентгеновским светом небес,
 по касательной, вскользь, по косой,
 с бледным месяцем, млечной косой,
 распутивши играющий хвост –
 Сирина, Феникса, Орла, Алконоста,
 вдоль воздушных потоков скользя,
 обнимая, внимая, грозя,
 доверяясь особой судьбе –
 сам собой, да не сам по себе,

а придаток того существа,
 что на камне выводит слова
 и глядит из глазницы веков,
 и в пещерах рисует быков,
 что дрожит, вожделеет, дает,
 покупает, гноит, предает,
 что неволит, голубит и льнет,
 холит, молит, целует, клянет,
 скуповат, глуповат, трусоват
 и не знает, когда виноват.
 Что ты, птица? Душа, голова
 или сердце того существа?
 Кто ты, птица? Скажи, для чего
 колотиться в груди у того,
 кто бредет со своею трухой
 по белеющей тропке глухой,
 моет пищу, разводит огонь
 и свечу зажимает в ладонь,
 испускает прощающий вздох
 и к закату приходит – на трех.





Охотник

Дубовый лист ветшает,
проглядывает даль.
Охотник поспешает
в далекий Ронсеваль.
Пустынный и желанный,
видавшийся с бедой,
как северные страны,
туманный и седой.
Что будет, то и ладно,
а верно, будет день.
В охрипший рог Роланда
в лесу трубит олень.
Да издалёка машут
кизил и алыча,
и вспорхи мелких пташек
трепещут у плеча.
Здесь все – шкала и мета:
и веточка, и цель.
Здесь смысл вокруг предмета
кружится, будто шмель,
и нет, по крайней мере,
всего, чем дол гниет,
что Моцарту – Сальери
в ценители дает.
И судит суд Сальери

достойный, как всегда.
Присудит к высшей мере,
а выше нет суда.
Ступай себе, охотник,
плутай в рассветной мгле,
до радостей охотник
на горестной земле.
Иди, куда ни глянешь,
искатель лучших благ.
Когда бродить устанешь,
под деревом приляг.
Под деревом зеленым,
не тронут, не испит,
источник Персефоны
таинственно шумит,
и кольца Змей свивает,
и, взметывая пыль,
ученый Зверь гуляет,
рассказывая быль.
Лежи себе и думай,
выспрашивая тишь:
– Лучистый, неугрюмый,
неужто не простишь,
что сердце бьется гулко,
что праздность в дружбе с ним,
что жизнь моя – прогулка
под Деревом Твоим?!

Камень

Речи сладкие длинноты,
ночи сонная стезя.
Отчего ты, для чего ты –
знать, наверное, нельзя.
Только можно слушать кожей
бледных ангелов полет –
так уходит день погожий,
камень душу отдает.
Словно ветра колыханье
из проулка, со двора –
камня сонное дыханье,
отраженная жара.
Знать, в тепло свое дневное
запеленывать ему
тварей спаренных – по двое,
мертвецов – по одному.

* * *

В дальних странах проще верить чуду:
в толчее чужих людей,
может, я верней тебя забуду
среди шумных площадей.

Незнакомый профиль на монете.
Безымянный город впереди.
Сколько ж можно маяться на свете
с комом в горле, с камнем на груди!

А поди, меня забудешь первым!
Затеряешь в памяти больной
меж ключом и ножиком консервным,
словно крестик – в лавке скобяной.
И когда всё снова станет просто,
за меня ты помолись:

в дальних странах
странные погосты –
белый камень,
черный кипарис.

Монетка

Напряг небесной ткани
над гулом голубей.
Бегут круги в фонтане
от денежки моей.

Карманный звон разменян
на брызги бытия –
обмен неравноценен,
и это знаю я.

А все в фонтан нередко
подальше зашвырну
потертую монетку,
блестящую блесну:

когда доход мой прожит
и отпирован пир,
вдруг мне она поможет
вернуться в этот мир?

